

## Государственная тайна пенсионерки

*Это последняя статья, подготовленная к печати заведующим отделом публицистики "Нового мира" Александром Носовым.*

С Ольгой Григорьевной Шатуновской я познакомился в доме моего тестя, Александра Ароновича Миркина. В ранней юности он вместе с другим гимназистом основал в Баку, в 1919 году, Союз учащихся-коммунистов. Это был их ответ на армянскую резню, устроенную аскерами Нури-паши вместе с местными азербайджанцами в октябре 1918 года. Тогда три дня трупы валялись на перекрестках. И над ними по ночам выли собаки...

Живой легендой бакинского подполья была Оля, член партии с 1916 года (ей было тогда пятнадцать лет), в 1918 году – секретарь Шаумяна, турками присужденная к повешению, уцелевшая благодаря порыву великодушия вновь назначенного азербайджанского министра внутренних дел. Заболевшая тифом, ухаживая за больными товарищами во Владикавказе, занятом белыми, вывезенная в тюках с коврами в Грузию и, едва оправившись, вернувшаяся на подпольную работу в Баку... Александра Ароновича больше всего потрясло, как Оля, девушка 17 лет, в одиночку управилась с парусом и компасом и пересекла Каспийское море. В мою память врезалось другое: пароход из Ванинского порта в Магадан. Качка страшная. Корабль то взлетает вверх, то падает в пропасть. В трюме зека не обнимаются, как родные братья, а перекатываются, живые и мертвые, в жиже из морской воды, дерьма, мочи и блевотины. В это месиво бросали и куски хлеба. Когда крикнули: кто хочет в галльон? – Ольга Григорьевна, устоявшая на ногах, поднялась – и осталась на палубе, спрятавшись за пришвартованные драги. Другие продолжали перекатываться в трюме.

Кажется, я впервые увидел ее в 1965 году. Постарела, пополнела, но сила блистала в глазах через толстые стекла. Дряхлеющее тело держалось на ступке воли. После Лубянки, Колымы и ссылки Хрущев назначил ее, вместе с другой каторжницей, Пикиной, проводить реабилитацию. Старые кадры Парткомиссии для этого не годились. Ольга Григорьевна была создана для своей миссии. Окруженная ненавистью, она ломала сопротивление сталинистов. Узнав, что Указ о пожизненной ссылке противоречит основам права союзных республик, Шатуновская добилась аннулирования этого указа и одним махом распустила всю "контру" по домам. Маленков пытался саботировать, но у Ольги Григорьевны было право прямого доклада Хрущеву, и Хрущев показал, кто в Советском Союзе главный.

В 1960 году Хрущев назначил Шатуновскую в комиссию Шверника, расследовать убийство Кирова. Шверник там возглавлял, Генеральный прокурор, председатель КГБ и один из заведующих отделов ЦК присутствовали на заседаниях, а работала она.

Ольга Григорьевна умела говорить официальным языком (отдельные канцеляризм прорывались и в разговоре со мной), но со страстью каторжницы, помнившей Колыму. Ей невольно покорялись. Она сумела раскрыть сверхсекретные сталинские сейфы, найти бумаги, на которых рукой Сталина были набросаны схемы московского и ленинградского террористических центров, родившихся в его голове. Она нашла свидетелей, знавших о совещании на квартире Орджоникидзе, когда несколько членов ЦК, совесть которых вопила против голодомора крестьян, предлагали Кирову заменить Сталина (а Киров отказался, боясь, что не управится с Гитлером). Она разыскала члена счетной комиссии XVII съезда, забытого расстрельщиками и оставшегося в живых, и узнала тайну о 292 бюллетенях, в которых вычеркнуто было имя Сталина. Она выяснила, как в Ленинград был направлен чекист Запорожец с заданием убить Кирова, как Леонида Николаева убедили взять на себя эту роль,

как его трижды задерживала личная охрана Кирова – и как трижды убийце возвращали портфель и оружие. Ей удалось восстановить картину первого допроса Николаева, кричавшего, что он выполнял волю партии. Все свидетели были расстреляны или покончили с собой, но Польгаев, прежде чем застрелиться, все рассказал Опарину. Чудов накануне ареста рассказал все Дмитриеву, и письменные показания Опарина и Дмитриева совпали друг с другом и с показаниями конвоира Гусева, которого Сталин не заметил и не уничтожил...

От имени комиссии Шверника Ольга Григорьевна запросила КГБ и получила официальную справку, по полугодиям, о масштабах Большого террора, развязанного после убийства Кирова. Общий итог она помнила наизусть до смерти, и я его помнить буду, пока жив: арестовано 19 840 000 человек, расстреляно в тюрьмах 7 000 000 всего за 6,5 лет, с 1 января 1935 по 1 июля 1941 года. Сегодня кажется, что это фантастически большие цифры. Но Пол Пот в маленькой Кампучии примерно за такое же время уничтожил 3 374 768 человек (из Протокола Комиссии по расследованию. Цитирую по книге "Похороны колоколов", М., 2001, стр. 9). Мудрено ли, что Сталин, в большой России, перебил больше.

Хрущев плакал, потрясенный результатами расследования, но Суслов и Козлов убедили Никиту Сергеевича сделать вид, что расследование еще не закончено, и Хрущев согласился отложить публикацию на 15 лет. Ольга Григорьевна безуспешно пыталась доказать, что это политическое самоубийство, и оказалась права. Цекисты не могли спать спокойно, зная, что у Хрущева, с его непредсказуемыми решениями, осталась в руках идеологическая бомба. Страх перед этой бомбой – одна из причин отставки Хрущева. Сразу же после выхода Ольги Григорьевны на пенсию (из-за ссоры с Сердюком, фактически возглавлявшим Парткомиссию) (1), в 1962 году, дело в 64-х томах стали потихоньку потрошить, а после октября 1964 года его выпотрошили до основания. Улики и справки исчезали или подменялись другими. И правда осталась только в памяти пенсионерки, связанной подпиской о неразглашении, но твердо помнившей все основные факты. Незадолго до смерти Ольги Григорьевны дочь Запорожца, расстрелянного, как и все, кто слишком много знал, с огорчением узнала о роли своего отца и попросила меня еще раз расспросить, точно ли все было так, как я рассказывал. Я пошел на Кутузовский. Ольга Григорьевна очень одряхла, сидела согнувшись. Но, услышав, в чем сомнение, распрямилась и четко, как на экзамене, повторила слово в слово то, что я слышал от нее лет на десять или пятнадцать раньше. Слухи, что она потеряла память и все путает, злостно распространялись сталинистами.

При первой возможности, 10 февраля 1990 года, Шатуновская направила в "Известия" письмо, где коротко и четко изложила основные результаты расследования и главные подлоги, совершенные сталинистами (у нее оставались друзья в Парткомиссии, и они ее тайно информировали, а потом, когда началась перестройка, ей полуофициально обо всем рассказали). Это было последним делом ее жизни. Вскоре она умерла. Однако часть рассказов Шатуновской записывалась ее дочерью, Джаной Юрьевной, и внуками. Эти рассказы совпадают с тем, что я сам от нее слышал, и с ее письмом в "Известия". Внук Ольги Григорьевны, Андрей Бройдо, выехав в Америку, выложил ["Рассказы в семейном кругу"](#) в Интернет. Этот фонд до сих пор не учтен историками. Так же как публикация его, осуществленная в Америке в небольшом числе экземпляров (2).

Им мешает, кроме всего прочего, антикоммунистическая прямолинейность. Слышатся голоса, что разница между Сталиным и Кировым невелика и не так важно, как один гад пожрал другого гада. С этой точки зрения переход от культурной революции Мао к новой экономической политике Дэна тоже не имеет значения... Думаю, что миллионы расстрелянных по тюрьмам и упавших без сил на Колыме, в Воркуте и на бесчисленных лесоповалах думали об этом иначе. Когда Сталин умер, я вышел на волю и вышли на волю все мои лагерные друзья. Для многих из нас очевидно, что Большой террор разрушил армию. Большой террор дал Гитлеру его легкие победы, а нам – необходимость затыкать собственной шкурой просчеты бездарных сталинских ставленников. Следствием Большого террора была блокада Ленинграда

и миллионы пленных, умиравших в гитлеровских лагерях или в сталинских – за "измену Родине".

Вернемся, однако, к Ольге Григорьевне. Она стоит того, чтобы познакомиться с ней поближе. Со мной это случилось после одного совершенно неожиданного разговора. Я приехал, собственно, за какими-то лекарствами из аптеки 4-го Управления. Роясь в ящиках, она спросила: "Читали вы сегодня "Правду"? Там такой-то пишет, что Бога нет". Я был ошеломлен. Старая большевичка могла сказать мне: "Что вы делаете, Гриша? Это бандиты, они вас убьют!" Но Бог! Вопрос о Боге был давно закрыт для всех ее друзей. Они не сомневались, они знали, они верили в свой атеизм с твердостью Коли Красоткина (а Оля вступила в партию примерно в этом прекрасном возрасте). И вдруг – удивление, что "Правда" отрицает Бога! Я осторожно спросил, чего другого она могла ожидать от центрального органа своей партии. В ответ она очень просто пересказала свой духовный опыт в ссылке: что-то огромное, неизмеримое подхватило ее и подняло над землей, надо всем пространством и временем, и она почувствовала сердцем, что это дыхание Бога, что иначе эту реальность нельзя назвать, что других слов у нее нет. Почему она об этом заговорила со мной? Потому что ни с кем другим она говорить про свой опыт не могла, а сказать хотелось. Мостиком к разговору были стихи Тагора и стихи Зинаиды Миркиной, близкие им обеим. ""Гитанджали", – говорила Шатуновская, я в шестнадцать лет готова была носить на груди". (В стихах Тагора Бог и возлюбленный сливаются, как первая и вторая ипостась в Троице; и у Зинаиды Миркиной так же). "Почему же вы не сохранили книжку?" – "Пришли ходоки из деревни, сказали, что нет книг, я отдала всю свою библиотеку". – "Зачем в деревне Тагор?" – "Что вы, разве я могла так рассуждать? Революция – значит, все общее. Все мои друзья погибли на фронтах". Последняя фраза логически не связана с предыдущими, но она связана чувством, энтузиазмом, распахнутой душой. Когда Красная Армия вошла в Баку, Оля взбунтовалась против Наримана Нариманова, присвоившего себе несколько дворцов. Оля и ее друзья считали, что во дворцах должны жить дети рабочих. Но Нариманов нужен был как азербайджанская декорация для советского управления Азербайджаном. Бунтарей перевели в Центральную Россию и там понемногу приучили к партийной дисциплине.

Я застал в Москве двадцатых годов только следы революционного энтузиазма. Он уже угасал. Энтузиасты группировались вокруг Троцкого, трезвые дельцы – вокруг правых, аппаратчики нашли своего вождя в Сталине. Но какой-то ореол святости вокруг слова "революция" еще горел, Бога писали со строчной, а Революцию, случалось, и с прописной. Это не было орфографически обязательно, но так было в сердцах советских мальчиков и девочек. Революция была богом, и этот бог увлек Олю и многих других, даже постарше. Их паровоз летел стрелой, в коммуне остановка... И они катились, как вагоны по рельсам, которые вели совсем не туда.

Что-то подобное произошло с Цюй Цюбо (надеюсь, что не путаю его фамилию; в семидесятые о нем писал синолог Л. П. Делюсин). Он учился в революционной Москве, увлекся – и стал одним из основателей китайской компартии. Потом произошел разрыв с Чан Кайши, Цюй Цюбо схватили, пытали... Он выдержал пытки, никого не предал. И тут случилось странное для нас дело (но совершенно обычное в Китае): ему предложили бумагу, тушь, кисточку написать то, что хочется, перед смертью. В Китае нет физических прав личности, но есть твердое правило хранить духовный облик замечательных людей, оставивших след в истории. Это очень древний обычай, и Чан Кайши остался ему верен. Цюй Цюбо взял кисточку – и написал, что он выполнил долг перед товарищами. Но ему глубоко жаль, что пришлось связаться в политику. Он любил стихи, любил живопись, – зачем, зачем он все это бросил! Нечто очень сходное говорил Бухарин на очной ставке со своим учеником Александром Айхенвальдом: не пишите ни о политике, ни об экономике, думайте и пишите о человеке! Если довести эту мысль до конца – бросьте брэнное! Думайте и пишите о вечном!

В Ольге Григорьевне этот поворот к вечному начался – но остановился на половине пути. И я

могу только догадываться, почему так случилось. Однажды я спросил ее, почему она не пишет воспоминаний. Она ответила мне: я посвятила жизнь ложному делу, и мне не хочется об этом вспоминать. Однако она очень охотно вспоминала отдельные эпизоды. Просила только детей, чтобы не записывали (видимо, помнила обязательство не разглашать; но рассказы – это тоже разглашение).

Приведу две истории, которых нет в записях детей. Первая история – как ее уломали подписать хоть что-нибудь. Пытать ее начальник запрещал. Возможно, она ему понравилась. Так бывает. Но придумана была нравственная пытка: приводили заключенного, и он умолял ее подписать, иначе его убьют. Она отказывалась, и его убивали. Потом приводили второго... На третий раз она согласилась подписать поданную ей нелепость.

Другая история – рассказ о встрече с Маленковым. Собственно, интересных встреч было три. Первая – заочная. Мирзоян (тогда – секретарь ЦК Казахстана) был вызван к Маленкову, зашел – и увидел на столе список с запросом санкции ЦК на арест. Заглянул – и увидел там имена Сурена Агамирова и Ольги Шатуновской. В 1937 году было ясно, что правду искать бесполезно. Зачем-то уничтожают героев бакинского подполья. Мирзоян встретил Агамирова и попросил предупредить Олю – у нее трое детей, пусть вызовет из Баку мать. И тогда Ольга Григорьевна в последний раз увидела Сурена, друга своей юности. Вместе играли в горелки, вместе были присуждены к повешению и отпущены во Владикавказ (тогда оставшийся красным). Вместе вернулись в Баку. Вместе создавали связь с Москвой. Вместе бунтовали против Наримана Нариманова. И наконец стали жить вместе. Их считали мужем и женой. Но Оля не хотела ничего, кроме нежности, а Сурен, направленный в другой город, не устоял там перед девушками; они просто вешались ему на шею. Все умоляли Олю простить. Все любовались этой прекрасной парой. Но Оля не простила. Чтобы отрезать возможность новых упрасиваний Сурена, сказала, что сблизилась с одним из своих поклонников, с Кутьиным. И потом действительно вышла за него замуж, родила троих детей... В 1937 году Сурен пришел, гладил детей по головкам и говорил: "Оля, Оля, что ты наделала! Это могли быть наши дети!.." Ольга Григорьевна пересказывала эту сцену без комментариев.

Став членом Парткомиссии, она затребовала дело Агамирова. Всего три допроса. На первом – все отрицал. На втором – все отрицал. На третьем признал, что разрушал домны. Трибунал, расстрел. Ольга Григорьевна навела справки: никаких разрушений не было.

О второй исторической встрече с Маленковым я рассказывал: столкнулись по телефону, с помощью Хрущева член Парткомиссии заставил председателя правительства прекратить саботаж.

Третья встреча – члена комиссии Шверника с членом антипартийной группировки Молотова, Маленкова, Кагановича. Представляю себе железный взгляд Ольги Григорьевны, с которым она задала свой вопрос: почему члены Политбюро (или Президиума ЦК) не сопротивлялись безумным решениям деспота. "Мы его смертельно боялись", – ответил Маленков и рассказал, как Сталин, смакуя, излагал свой сценарий убийства Михоэлса и заодно Голубова (другого эксперта, посланного в Минск отбирать кандидатов на премии). Обоих пригласил министр ГБ, угостил вином – чтобы при вскрытии в желудке нашли алкоголь, – а затем вошли палачи, набросили на обреченных мешки и не торопясь, в течение часа били по ним ломом. Мне почему-то запомнилось, что в течение часа. Я совершенно не уверен, что убийство было совершено точно так, Сталин мог любоваться сценарием, пришедшим в голову задним числом, и сами убийцы могли схалтурить, но Маленков, в ответ на вопрос Шатуновской, не мог же мгновенно придумать эту историю, воображения бы не хватило. Характер Маленкова хорошо описан у Авторханова в "Технологии власти". Это канцелярист, а не поэт застенка.

С уст Ольги Григорьевны легко слетали страшные истории. Почему же трудно было взяться за перо?

Я думаю, трудно было свести концы с концами. Трудно объяснить самой себе, как порывистая мечтательница стала дисциплинированным солдатом партии и как эта партия пришла к внутренней катастрофе. Ольга Григорьевна была бесконечно смелее и независимее остальных бакинских стариков, друзей тестя. Выйдя из добровольного затвора, в котором она жила при Хрущеве, зная, что за каждым ее шагом следят, Шатуновская поражала резкостью своих суждений и как-то очень быстро повернула Александра Ароновича к оппозиции. Он привык быть вместе с партией, и "вместе с Олей" заменило ему это, повернуло к "социализму с человеческим лицом". В 1968 году и он, и все его друзья болели за Дубчека. Но пошла ли сама Ольга Григорьевна дальше этого? И вышла ли она сама из-под власти политики? Я думаю, что работа по разоблачению Сталина держала ее в старом, политическом русле, мешала полному духовному повороту. Стремление показать, что Сталин – убийца ленинской партии, поддерживало в ней некий образ ленинской партии, который сильно отличается от моего.

Уже в отставке, уже оторванная от своего дела в 64-х томах, она страстно собирала информацию о связях Сталина с царской охранкой. Я охотно допускал, что после кровавого ограбления тифлиского банка у Сталина просто не было другого выбора, иначе повесили бы. Симулировать безумие, как Камо, он не был способен. Но скорее всего, он обманывал охранку так же, как пытался обмануть своего заклятого друга Гитлера. Второе ему не удалось, но от охранки он, должно быть, отделался пустяками. Для его гигантского честолюбия роль агента была слишком мелкой. Революция обещала больше. И он ставил на революцию. А при этом кое-кого предавал. Еще в 1918 году Шаумян, получив телеграмму Ленина о помощи из Царицына, воскликнул: "Коба мне не поможет!" И на вопрос Оли – почему, рассказал ей, что в 1908 году был арестован на квартире, о которой знал только Коба, и Коба прямо заинтересован в смерти неприятного свидетеля. Тогда все перевесил авторитет Ленина, который Сталину доверял. Но на Колыме и в ссылке старое всплыло, и в уме Шатуновской сложилась концепция Сталина-provokatora, сознательного разрушителя партии. По-моему, важно было другое...

Александр Петрович Улановский, анархист, отбывавший ссылку в Туруханске по соседству со Сталиным, рассказывал мне, как Сталин натравливал пролетарскую часть ссылки на интеллигентскую – с какой целью? Ради мелкого честолюбия оттеснить Свердлова от положения старшины ссыльных? Быть может, но думаю, что просто ему доставляло наслаждение стравливать людей друг с другом. Когда власть Сталина сделалась незыблемой – для чего он продолжал стравливать своих сподвижников, для чего он провоцировал их, уничтожив братьев Кагановича, арестовав жену Молотова? Я не вижу здесь политического смысла; одна радость игры, радость провокации ради провокации. Достоевский угадал этот характер в своих образах provokatorov – прежде всего Петруши Верховенского, но отчасти и Смердякова. Оба они мелки сравнительно со своим, еще не родившимся, прототипом. Даниил Андреев увидел Сталина крупнее, как метафизического provokatora, близкого предшественника Антихриста. Прямой связи с дьяволом у Сталина, вероятно, не было, и не прямо из преисподней он получал "хохху", эманацию мук, превращавшуюся в яростную энергию. Но образ, созданный Андреевым, занял свое место в карнавале образов, мелькающих в моем сознании, когда я думаю о Сталине. Академик Сыркин представлял себе органическую молекулу как резонанс нескольких структур. Вот и Сталина я представляю себе как резонанс нескольких образов. Вызывает он Гилельса, слушает всю ночь Бетховена и, вероятно, чувствует в этой музыке свое демоническое величие. Или над озером Рица, на Сосновке, велел соорудить беседку и приезжал туда в четыре часа утра слушать соловьев. Я спускался из Сосновки потрясенным. Такая природная красота – нерукотворная икона. Что она будила в Сталине? Что он сам встал на место Бога? Не знаю. А иногда он признавался себе (но только себе!) в своей слабости, вспоминал себя заброшенным подростком, высмеянным соседями шлюхиным сыном, и десятки раз смотрел "Огни большого города" – сентиментальную историю маленького человека. Или восстанавливал на сцене Художественного театра "Дни Турбиных" и по-лакейски любовался красивой жизнью господ. Которым он потом проломит голову.

Я пытался излагать Ольге Григорьевне свои взгляды и чувствовал, что она колебалась. Но ей очень хотелось, чтобы на первом месте была не логика превращения "добра с кулаками" в "зло с кулаками". Пусть лучше партию истреблял профессиональный провокатор, агент охраны, а партия остается партией и гибнет как партия. Это несколько даже риторично звучит в заключительных словах ее письма в "Известия": "Судьбоносное, непреходящее значение 17-го съезда в этом и заключается, что партия коммунистов на том съезде последний раз дала бой, оказала действенное сопротивление побеждавшей на долгие годы диктатуре Сталина". Видимо, в порыве чувства Ольга Григорьевна не заметила, что последний абзац решительно противоречит предпоследним: "Многие делегаты съезда и сам Киров выступали на съезде со славословиями в адрес Сталина. Бухарин, Рыков и Томский капитулировали под улюлюканье некоторых делегатов, объявивших 17 съезд съездом победителей... Но все оказалось фарсом, трагическим фарсом: съезд победителей превратился в съезд расстрелянных...

Однако, несмотря на то что почти все присутствовавшие на съезде лично участвовали во всем этом, многие начали сознавать страшную суть содеянного и роковую роль Сталина в этих событиях".

Что же сделали те, кто "начали сознавать"? Перейдем к началу письма. "Во время 17 партсъезда, несмотря на его победоносный тон и овации Сталину, на квартире Серго Орджоникидзе, в небольшом доме у Троицких ворот, происходило тайное совещание некоторых членов ЦК – Косиора, Эйхе, Шеболдаева и других. Участники совещания считали необходимым отстранить Сталина с поста Генсека. Они предлагали Кирову заменить его, однако он отказался. После того как Сталину стало известно об этом совещании, он вызвал к себе Кирова. Киров, не отрицая этого факта, заявил, что тот сам своими действиями привел к этому".

Получается, что с Кировым даже не успели переговорить заранее, наедине, без возможности подслушивания и доноса. Посмотрели друг другу в глаза, почувствовали: стыдно; и задумались: что же делать? А делать было нечего. Истерика культа дошла до такой точки, что выступить открыто с трибуны не решился никто. Уже стали рабами. И по-рабски, втайне, вычеркивали в бюллетенях фамилию, которую дружным хором славил. Далеко не только те, кто собрались у Орджоникидзе. Мы знаем число тех, кто устыдились – и зачеркнули фамилию Сталина. А сколько человек устыдились, но ничего не сделали? Ведь страшно было. Подумать – и то страшно.

Я вспоминаю, как в августе 1944-го мы без команды сматывали палатки, чтобы идти на помощь Варшаве, а нам велели "отставить" и на другой день по радио сообщили, что помочь Варшаве нельзя. До самого вечера мы, офицеры, встречая друг друга, отводили глаза. Было очень стыдно. Но мы молча, подчиняясь военной дисциплине, вынесли свой стыд. А какая-то часть делегатов, встречаясь друг с другом глазами, не вынесла. Хотя, скорее всего, большинство про совещание у Орджоникидзе и не знало. А если и прошел слухок – какое уж тут "действенное сопротивление"! Шатуновская сперва описывает съезд реалистически (кровавый фарс), а потом нахлынула романтическая память о партии, в которую когда-то вступала, в истинную партию, в идеальную партию, которая, как все идеалы, не знает износа.

Шатуновская сама себя опровергает: "Несмотря на то что почти все присутствовавшие на съезде лично участвовали во всем этом, многие начали сознавать..." Что, когда? К 1934 году миллионы крестьян на Украине, на Кубани, в Казахстане уже вымерли. Когда же это начал сознавать Косиор, исполнявший волю Сталина на Украине, или Шеболдаев – на Северном Кавказе?

В 1953 – 1956 годах я работал учителем в станице Шкуринской. И мой коллега, завуч Батраков, рассказывал мне, как его отца, старого коммуниста, мобилизовали отбирать хлеб у кулачья. Вошли в дом. Казачку облепило пятеро детей – мал мала меньше. Без звука отдала ключи

(мужа уже сослали). Старший Батраков вошел в клуню, посмотрел – в углу горстка кукурузы, до весны даже впроголодь на всю ораву не хватит. Вернулся и бросил ключи к ногам женщины. Его за это исключили из партии. Он заболел, умирал, сын (Батраков-младший) стал пересказывать что-то услышанное по радио про врагов. "Еще неизвестно, кто враги", – прошептал отец.

Екатерина Кольшклина (в первом замужестве баронесса де Гук, а во втором – Дохерти) писала, что у русского, даже самого большого злодея, палец в святой воде. Но почему один Рютин почувствовал этот палец в 1930 году и прямо выступил против Сталина (тогда же хотели расстрелять; помешал еще не совсем безвластный Бухарин; расстреляли попозже)? Почему 292 делегата съезда почувствовали прикосновение святой воды только тогда, когда уже было поздно помочь вымершим с голоду – оставалось только умереть вместе с ними? Сталин правильно почувствовал, что против проголосовало в душе больше, чем 292, и истребил всех, в ком хоть колыхнулась совесть. Слабо. Беспомощно. Но мертвые сраму не имут. И за то, что всколыхнулась в них совесть, да простятся им грехи вольные и невольные. За всхлип совести ломали позвоночник Эйхе. За эти всхлипы миллионы коммунистов (с недостаточно гибкой спиной) при жизни прошли сквозь ад.

Но вернемся снова к Шатуновской. Где же она была в 30-е годы? Рожала, кормила, воспитывала своего третьего ребенка – Алешу. Когда ее арестовали, он потихоньку залезал в шкаф и подолгу сидел там: шкаф пахнул мамой. Многодетную сотрудницу не гоняли по командировкам. Сидела в аппарате МК, в облаке казенных слов и казенных мыслей, скрывавших страну, как дымовая завеса. Только во вторую половину 30-х годов, начав ездить по местам, она окунулась в безумие "персональных дел", взаимной травли, пыталась остановить то, что ей казалось чудовищной нелепостью, сорвала несколько уже подготовленных решений – и тут же ее саму посадили.

В одном из рассказов детям Ольга Григорьевна вспоминает эпизод из дела Бухарина. Отпущенный на Парижскую выставку, Бухарин встречал старых друзей, меньшевиков, и говорил им, что они были правы: революция 1917 года в России была демократической, никаких условий для строительства социализма здесь не было. Но если и впрямь не было, если меньшевики были правы, то весь ленинский эксперимент становился чудовищной авантюрой. Чтобы писать воспоминания, надо было решить проблему, выходящую за рамки фактической правды, вступить в область истинных и ложных теорий. Шатуновская, видимо, не чувствовала себя подготовленной к этому. Пафос ее работы (сохранившийся и в отставке) был в отсечении явных фактов от явной лжи. Но и в области фактов был личный опыт, колебавший кумиры большевизма! Меньшевики не расстреливали. Меньшевицкая Грузия была убежищем для большевиков, бежавших от националистического и белого террора. А потом в Грузию вошли большевики – и стали расстреливать. Ольга Григорьевна это знала. И знала, вероятно, что меньшевики повсюду протестовали против террора, без всякой личной симпатии к адмиралу графу Щастному или Великим Князьям. Знала, но не хотелось ей углубляться в это. Область явной лжи (она называла это контрреволюцией) начиналась для нее только с 1928 года. До этого была область сомнений, от которых она, кажется, так и не освободилась.

А как хорошо все начиналось! Как легко было бежать в революцию в одних чулках, оставив дома запертые отцом туфли! Такой же порыв, как за пару лет до этого: ухаживать за подругой, больной чахоткой, с риском заболеть самой, – и выходила ее. А потом, когда Ольга Григорьевна вернулась с Колымы (и ждала ее ссылка), подруга отказалась ее принять, боялась за мужа. Через несколько лет Шатуновская сама пошла в гору, подруга попросилась в гости, и Ольга Григорьевна ее не приняла. "Друзья познаются в беде". И не пошла к Хрущеву, приглашавшему в гости после своей отставки: презирала трусость. А между тем чего она от него хотела? Не аргументами убедили его Суслов с Козловым – какие они диалектики! – а чутьем: за ними стоит весь аппарат.

Впрочем, Бог с нею, с политикой. Мне интереснее мораль. Ольга Григорьевна готова была душу положить за други своя. В этом отношении она была "анонимной христианкой". Но она не чувствовала, что красота отца, прощающего блудного сына, выше ее гордой красоты. В чем-то напоминавшей мне королевскую гордость Ахматовой.

И тут вспоминается мне один совсем не политический эпизод. Я убедился на собственном опыте, что внезапное чувство причастия бесконечности блекнет и одной памяти о нем недостаточно, надо искать, как ежедневно причащаться своей глубине, сохранившей искру вечно живого огня, как раздуть искру... И я дал Ольге Григорьевне "Школу молитвы" Антония Блума. Потом спросил – как? И Ольга Григорьевна, ничего не говоря, с неумолимой своей твердостью отрицательно покачала головой. Если бы она сказала: "Не очень... мне многое здесь не нравится", – осталась бы почва для разговора, я охотно заходил бы, продолжая такие разговоры, но этот жест не допускал никакого диалога, никакого изменения раз и навсегда вынесенного приговора.

Почему? Ведь она любила религиозное чувство в стихах – на этом мы и сошлись. Но поэтическое чувство реальности Бога не затрагивало ее гордости. Можно подумать и так: я человек, и мне дано почувствовать Высшее, Бесконечное. Смирение – из другой сказки. Именно по глубине своей натуры Ольга Григорьевна впитала в себя гордость не только социального, но и метафизического бунта, гордость Прометея. "Бесконечное развитие богатства человеческой природы" в "Капитале" имеет за собой долгую традицию. Тут и Протагор (человек – мера всех вещей), и панегирик человеку Пико делла Мирандолы, и мысль Кириллова из "Бесов": если Бога нет, то надо самому встать на место Божье... Не думаю, что Ольга Григорьевна все это прочла, но концепция бунтующего человека была рассыпана в сотнях книг, картин, музыкальных сочинений... Вместе с инерцией рабства революционное сознание отбросило и "ценностей незыблемую скалу", на вершине которой бесконечная по мощи святыня, объемлющая мир своей любовью и ждущая от человека такой же бесконечной, превосходящей все земные мерки любви... Ждущая от человека открытости залива океану, готовности утонуть в море света, сгореть в пламени без дыма...

А без открытости залива океану, без опоры на Бога, стоящего над всеми земными системами, построенными из обломков Целого, человек становится рабом дела и системы, созданной для торжества дела, и только террор, вырвав солдата партии из строя, вернул Ольгу Григорьевну к поискам собственной глубины. Но тут же подхватило ее другое дело – дело реабилитации невинных, дело расследования сталинского коварства, и снова не было паузы созерцания, не было внутренней тишины, чтобы расслышать в ней Бога. Одна страсть – к справедливости для бедных – уступила место другой страсти – к обнажению страшной правды, – и стареющая женщина с неукротимой волей вступила в борьбу один на один с огромной машиной лжи, ничтожной в каждом винтике, но могучей именно своей безликостью. И до последних дней Ольга Григорьевна перебирала в уме улики и подлоги, держала в памяти свое резюме дела в 64-х томах.

Чтобы дойти до конца в духовном освобождении от иллюзий истории, ей надо было освободиться от захваченности обличением Сталина. Но тогда не было бы и дела в 64-х томах. Так же как без яростной памяти на зло не было бы "Архипелага ГУЛАГ". Без страстной односторонности история не умеет обойтись.

Ольга Григорьевна Шатуновская – трагическая фигура, оставшаяся в тени русской истории. То, что она не все могла до конца додумать, – не первый случай. История не дает нам видеть все с одинаковой ясностью, открывая одну перспективу, она закрывает другие. Сегодня легко видеть, к чему революция вела. Трудно понять пафос людей, ринувшихся в революцию от ужаса старого мира, от бойни Первой мировой войны, чудовищного истребления людей во имя "решения великого вопроса, какой мир хуже, Брестский или Версальский" (не боюсь процитировать Ленина).



В 1990 году, на заседании Восточноевропейского семинара Франкфуртского университета, мне был задан вопрос: не потому ли русским труднее дается расставание с прошлым, чем немцам, что в нацизме грубо торчала идея насилия, а в коммунизме насилие предлагалось только как средство к общему счастью. Я ответил: "Да, конечно!" – и вспомнил своих друзей из "коммунистической фракции демократического движения. Моему другу Хайнцу Кригу легче было перечеркнуть свою юношескую любовь к Гитлеру, чем [Петру Григорьевичу Григоренко](#) – свою любовь к Ленину. И хотя я достаточно сказал о фарсе XVII съезда, хочется сказать сейчас и о другой половине правды – о трагическом фарсе. Мои современники ничего не знают, ничего не помнят. А я помню. Я жил в 1937 году и даже написал письмо Сталину с советом не увлекаться террором... Было мне тогда 19 лет, и, к счастью, Сталин моего письма не прочитал... А террор все ширился, и понять его становилось все труднее. Чуть-чуть спустя я говорил Агнессе Кун, что Сталин трус и готов перебить сто невинных, только бы не уцелел один злоумышленник, способный его самого убить (что никто его и не собирался убивать, я и, будучи в лагере, все еще не понимал). Между тем колесо все раскручивалось, и понять смысл того, что происходит, стало вовсе невозможно. Террор вертелся, как вечный двигатель, сам себя подкармливая лавиной доносов и вызванных под пыткой признаний. Наверное, именно этот пик иррациональности схвачен в образе Сталина-демона, питающегося эманацией человеческих страданий, хохлаю. Наконец после перерыва в год длиной родился первый анекдот (3) и, как голубь мира, облетел Москву:

– Как живете?

– Как в автобусе: одни сидят, другие трясутся.

И я сказал себе: мы стали смеяться над страхом, еще немного, и страх перейдет в мужество отчаяния. Если кто-то управляет этим безумием, то террор пойдет на убыль. И в самом деле, плакаты с "ежовыми рукавицами" исчезли, и стало принято говорить о "ежовщине". Пик террора остался позади. Слава Богу, именно в это время я кончил свою курсовую работу о Достоевском, где опровергал оценки Горького, Ленина и Щедрина. Временно воцарилась усталость от казней, и работу вяло оценили как антимарксистскую, но за мной всего только установили наблюдение. Полгода раньше – сел бы как миленький.

И вот вопрос: перестал ли я хоть тогда считать Сталина гением? Не помню. Что-то пошатнулось, но не совсем сломалось. В 1941 году, когда нас стали бить, кумир почти распался. А когда начались победы – я снова поверил в Главнокомандующего...

Положение Сталина как живого бога установилось еще между XVI и XVII партсъездами. Подняться на трибуну и сказать, что Сталин грубо ошибся, в 1934 году было так же невозможно, как похулить Мохаммеда в Мекке перед миллионной толпой мусульман. А дальше такие мысли додумывались разве только в лагере, да и в лагере – не всеми. На воле человек, глядя в зеркало, шептал: "Один из нас стучит..."

Много позже, в другое, вегетарианское, время, когда оставалась только инерция культа, [Петр Григорьевич Григоренко](#) шел на трибуну районного партактива как на казнь. Хотя было очевидно, что казни за критику Хрущева не будет, жизнью платить не придется. Но оставалась какая-то мистика, окружавшая особу первого секретаря ЦК. Который по должности был великим теоретиком марксизма и проч., и проч., и проч., и за кощунственное попрание этой святости пришлось поплатиться всего только своей военной карьерой. Перечитайте то, что Григоренко написал об этом эпизоде, и умножьте страх, который он испытывал и преодолевал, подымаясь на трибуну, на какое-то очень большое число. На тысячу или даже на миллион.

И еще вспомните, что была и государственная опасность, что почти весь немецкий народ сплотился вокруг Гитлера, что с выкриками одержимого резонировало отчаянье безработных, резонировала обида за Версаль, и возникла огромная военная сила, опрокидывавшая европейские государства, как карточные домики. Киров отказался от предложенной ему роли не только потому, что плохо разбирался в международной политике. Нетрудно было создать

совет из достаточно подготовленных людей. Еще живы были Радек, Бухарин. А в Генеральном штабе еще работали способные люди. (Вспомним Тухачевского. Он вместе с Гудерианом разрабатывал тактику танковых армий.) Но энергии и решимости вождя, способного противостоять Гитлеру, ни у кого не было. И создавать новый фиктивный авторитет, подобный сталинскому, времени не оставалось. Авторитет Сталина-бога был бедствием, когда Сталин ошибался, когда он принимал преступные решения. Но этот авторитет бога был спасением, когда все разлеталось в прах, и оставалось только единство народа со своим вождем, и вместо разбитых армий создавались новые армии... Немцев это не выручило, но мы, уложив 20 или 30 миллионов, взяли Берлин...

Ветераны этого до сих пор не могут забыть. Я сам был и под Москвой, и к северо-западу от Сталинграда, и у меня в Берлине, в апреле 1945-го, кружилась голова; несколько капель моей крови упало и на русскую, и на немецкую землю; но ни чувство победы, ни чувство крови не заглушат во мне разума и совести, и для меня знамя Сталина – знамя лжи и победа его – победа лжи, обвинившей гибельную утопию коммунизма лаврами воинской славы. И наша национальная обязанность – разделаться с памятью Сталина так же, как немцы с памятью Гитлера, сбросить имя Сталина, со всем, что к нему прилипло, в пекло истории. Золото народного мужества не сгорит.

Над XVII съездом партии парила тень Гитлера. Сила демократии – не на войне. Открытая оппозиция, раскол партии были риском, на который никто не решался. Делегаты съезда оказались между тигром и бушующим морем, между тиранией Сталина и победой Гитлера. Они попытались избежать этой альтернативы, но робко. Неуверенно, вступая в борьбу со связанными руками. Их поражение было несомненным, но море крови, которое пролил взбешенный Сталин, не имеет равных в истории.

Больше всех мне жаль зачинщика этого "боярского заговора" – Серго Орджоникидзе. То, что он непосредственно делал в Наркомтяжпроме, не было людоедством, не ложилось грузом на совесть. Он мог видеть на стройках заключенных, но не умиравших с голоду детей. Значит, мучило то, что делали другие, мучило положение в целом. Мучило то, что когда-то он любил Сталина, верил в гений Сталина. И кажется, он всерьез верил, что Сталин сможет уйти с поста Генсека по-хорошему. Хорошие люди часто думают о других лучше, чем те заслуживают, а Серго был человек простодушный, прямой, вспыльчивый и добрый (мне говорили люди, близко знавшие его). От простодушия – его план (если можно говорить о плане): голосованием на съезде воздействовать на совесть людоеда, и людоед станет вегетарианцем.

Очередной боярский заговор, очередная затейка верховников кончилась так же, как при Иване Васильевиче и Анне Иоанновне: опричниной и бироновщиной (далеко затмившими свои исторические прототипы). Кобе невыгодно было сажать своего друга Серго на скамью подсудимых, но он несколько лет настойчиво и умело изводил его и довел до самоубийства. Оставив в живых вдову и делая вид, что покойного он очень любил. Только на представлении оперы "Великая дружба" не выдержал и вышел из ложи, когда на сцене появилась тень Банко... (4)

А вдова не перестилала постели, на которой умер Серго, не трогала простынь, где запеклась кровь ее мужа, и до самой смерти ложилась спать рядом. Она дожила до встречи с Ольгой Григорьевной и рассказала ей, как все было.

Боюсь, что я не доживу до фильма или сериала (5), в котором узел русской истории, слившийся с жизнью Ольги Григорьевны Шатуновской, найдет свой зримый облик. Но только, будущие сценаристы, постановщики, актеры, – не халтурьте! Попытайтесь взглянуть в жизнь людей, бросившихся из огня в полымя, в ужас гражданской войны – от ужаса "законной" войны, начатой тремя законными императорами, в пролетарский интернационализм – от погромов и резни. Попытайтесь понять людей, "съеденных идеями", уверенных, что ради всеобщего счастья

все позволено. Попробуйте довести этих героев, через застенки и медленную голодную смерть, к той глубине, на краю которой остановилась Ольга Шатуновская.

---

См. также [«Следствие ведет каторжанка» - электронная книга в свободном доступе.](#)

[Бумажная книга на Озон.](#)

1 Ольга Григорьевна случайно занялась жалобой на оговор и натолкнулась на заинтересованность в этом деле Аджубея, зятя Хрущева. Ход к Хрущеву был, таким образом, закрыт, и Сердюк грубо торжествовал победу. Ольга Григорьевна не вынесла унижения и подала в отставку.

2 "Об ушедшем веке рассказывает Ольга Шатуновская". Составители Дж. Кутьина, А. Бройдо и А. Кутьин. Берлин, 2001.

3 В течение целого года анекдотов не было.

4 Сталин никому не объяснял, почему он помрачнел и вышел. Услужливые холуи нашли в музыке Мурадели недостатки и сочинили постановление об опере "Великая дружба", которое директивно изучалось в музыкальных и других кругах.

5 Григорий Соломонович дождался фильма о судьбе Ольги Шатуновской (["Нюрнберг, которого не было"](#)), и принял участие в съемках. - прим. ред.